

Пожалуй, еще строже, нежели «политический цинизм» Дидро, осуждает Пушкин поведение Вольтера, который в своих сношениях с Фридрихом II сам напросился на «жалкое посрамление». Заклучая свое твердое суждение о Вольтере, Пушкин писал, «что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственность, но печалит благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что наконец независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» (XII, 81).

В трудные годы николаевского царствования этический вопрос становится вопросом политическим, вопросом достойного поведения писателя; именно поэтому проблема нравственного достоинства неотступно присутствует в сознании Пушкина.²¹

²¹ Эта проблема вызывала не только раздумья, но и споры; отголоски этих споров запечатлены в пометах Пушкина на полях рукописи Вяземского о Фонвизине (см.: Новонайденный автограф Пушкина, с. 85—86).

После закрытия «Европейца» (1832) и «Московского телеграфа» (1834) просьбы о разрешении новых журналов рассматривались неохотно и по большей части отклонялись. Пушкин знал, что время не благоприятствовало его журнальным замыслам. Но существовать без своего печатного органа с каждым годом становилось невыносимее. Оставался единственный выход — ходатайствовать об издании типа альманаха, без упоминания крамольного слова «журнал». Пушкин так и сделал. В конце 1835 года он отправил письмо Бенкендорфу с просьбой разрешить ему издать в следующем году «4 тома статей: чисто литературных (как-то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности: на подобие английских трехмесячных Reviews» (XVI, 69).

Николай I разрешил «означенное периодическое сочинение». Внешние препятствия, таким образом, были преодолены. Но оставались внутренние затруднения. «Современник» был задуман Пушкиным как печатный орган писателей его круга. Несколько месяцев спустя Пушкин писал, что «он вполне признает справедливость объявления, напечатанного в „Северной пчеле“: „Современник“ по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением „Литературной газеты“» (XII, 184).

Однако протекшие пять лет не прошли бесследно. Много изменилось. Умерли Дельвиг и Сомов; отошел от литературной деятельности Катенин; Ивану Киреевскому, на критический дар которого возлагали справедливые на-

дежды в пушкинском кругу, было запрещено печататься. Правда, в то же время стало намечаться сближение с Гоголем, Одоевским, Тютчевым. Но не эти изменения явились определяющими для судьбы пушкинского круга писателей. Главное заключалось не в динамике имен — всякому литературному течению свойственно и терять соратников, и приобретать новых, — а во внутренней динамике социальных процессов, в уменьшении влияния передовой дворянской литературы на интенсивный процесс созидания отечественной культуры.

Процесс надвигавшейся изоляции мы можем особенно отчетливо проследить на примере пушкинского «Современника». В нем участвовали известнейшие писатели того времени, но насколько узок их круг! Вспомним имена сотрудников этого издания.

Первый номер. Пушкин, Жуковский, Гоголь, Вяземский, А. И. Тургенев, Козловский, Розен, Казы Гирей Султан.

Второй номер. Пушкин, Вяземский, Казы Гирей Султан, Дурова, А. Н. Муравьев, Кольцов, Одоевский, Емичев, Языков, Золотницкий, Розен.

Третий номер. Пушкин, Гоголь, Вяземский, Козловский, Одоевский, Тютчев, Денис Давыдов, Погодин, Стромилов, Небольсин.

Четвертый номер. Пушкин, Вяземский, А. И. Тургенев, А. Н. Муравьев, Тютчев, Денис Давыдов, Баратынский, Л. Якубович, Н. Титов.

Даже произведения самого Пушкина, обильно печатавшиеся в «Современнике», не спасли издание от неуспеха. Если первые два номера были отпечатаны в количестве 2400 экземпляров, то третий номер — 1200, а четвертый — 900 экземпляров. Эти цифры наглядно свидетельствуют о падении былого влияния писателей пушкинского круга. Среди многочисленной читательской аудитории наибольшим успехом пользовалась «Библиотека для чтения». Чтобы поколебать ее могущество, требовалось вступить в коалицию с передовыми демократическими деятелями. Два года спустя это веление времени поймет Владимир Одоевский, реорганизуя на новых началах «Отечественные записки».

Обособленная социальная позиция «Современника» четко обозначена в двух поэтических декларациях его издателя.

Первый номер открывается стихотворением Пушкина «Пир Петра Первого». Вновь, как и десять лет назад в «Стансах», Пушкин указывает Николаю I на великодушные его пращур — Петра I.

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Иносказание было столь явным, что не требовалось особой проницательности для его разгадки: Пушкин вновь призвал царя оказать милость декабристам. Вот что писал по этому поводу в своем дневнике 14 апреля 1836 года председатель Ученого комитета Морского министерства Л. И. Голенищев-Кутузов:

«Вторник 14. Наконец появилось то, что ожидалось с таким нетерпением — „Современник“ Пушкина, и с первой же страницы чувствуется отпечаток его духа; *Пир в Петербурге* повествует в гармоничнейших стихах о пире, устроенном Петром Великим не в честь победы и торжества, рождения наследника или именин императрицы, но в честь прощения, оказанного им виноватым, которых он обнимает, — стихи звучат по-пушкински, выражения, свойственные ему, так, например, спрашивая о причине пира, он говорит:

Не родила ль Екатерина,
Не именинница ль она,
Чудотворца исполнина
Чернобровая жена.¹

Не распространяясь уже о стихе, сама идея стихотворения прекрасна, это урок, преподанный им нашему дорогому и августейшему владыке — без всякого вступления, предисловия или посвящения журнал начинается этим стихотворением, которое могло быть помещено и в середине, но оно в начале, и именно это обстоятельство характеризует его...»²

¹ Л. И. Голенищев-Кутузов не совсем точно цитирует четверостишие Пушкина.

² ГПБ, ф. 201, № 30 (перевод с французского). — Подлинный текст записи см.: Гиллельсон М. И. Отзыв современника

Отзыв Л. И. Голенищева-Кутузова о «Современнике» — отзыв человека, находившегося во враждебном Пушкину общественном лагере. Несколько месяцев спустя Л. И. Голенищев-Кутузов вступит в полемику с Пушкиным по поводу стихотворения «Полководец». ³ Смелый поступок Пушкина — призыв к милосердию — был по достоинству оценен не только друзьями, но и врагами его.

Вслед за «Пиром Петра Первого» была анонимно напечатана статья П. А. Плетнева «Императрица Мария», посвященная женскому образованию в России. Высказывалось предположение, что «статья Плетнева по замыслу редактора-издателя призвана была сыграть роль благонамеренного фасада, по которому „начальство“ должно было судить о направлении всего журнала». ⁴ В доказательство своего мнения М. Еремин ссылается на Ф. Булгарина, который, рецензируя «первый том журнала Пушкина, отозвался об этой статье коротко, но в достаточной степени выразительно: «Статья о благотворительности в бозе почившей императрицы Марии Федоровны по важности содержания ее не подлежит критике». ⁵ Доля истины в предположении М. Еремина, конечно, имеется — Пушкин начинал издание «Современника» в трудных условиях, при недоверии властей и при недоброжелательном отношении других печатных органов; при такой ситуации требовалась особая осмотрительность; конечно, Пушкин понимал, что статья П. А. Плетнева будет доброжелательно принята в высших сферах и даже несколько сгладит впечатление от демонстративного помещения «Пира Петра Первого» в самом начале номера. И тем не менее вряд ли прав М. Еремин, когда он проти-

вопоставляет эту статью другим материалам «Современника». Есть основание думать, что выбор этой статьи свидетельствовал о пристальном внимании Пушкина к вопросу женского образования.

В статье «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1827) Пушкин с иронией писал о том, что «Магомет оскоривает у дам существование души», что «во Франции, в земле прославленной своею учтивостью, грамматика торжественно провозгласила мужеский род благороднейшим», что «даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приноравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто для детей...» (XI, 53). Домостроевские предрассудки были чужды Пушкину; он отдавал должное душевным качествам и умственным способностям женщин; известно, как высоко он ценил талант мадам де Сталь, как деятельно помогал русским писательницам (Н. А. Дуровой, А. О. Ишимовой). В «Рославле» (1831) он утверждал: «Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, нежели мужчины, занятые бог знает чем» (VIII, 156). Пушкин, как мы видим, понимал под женским образованием не только занятия в учебных заведениях, но и то, что теперь называем самообразованием («более читают, более мыслят»). Писатель справедливо полагал, что женская образованность является существенной и неотъемлемой частью общего просвещения России.

Недавно было обнаружено еще одно свидетельство, относящееся к последним дням жизни Пушкина. В Остафьевском архиве сохранилось письмо учителя Царско-сельского лицея, автора «Элементарной французской грамматики» (ч. 1, 1836) И. И. Трико к редакторам «Современника»: «Покойный господин А. Пушкин, мой бывший ученик, который сохранил приятное воспоминание о наших давних школьных отношениях, с интересом выслушал план моего сочинения и полностью одобрил его за несколько дней до того прискорбного события, которое его похитило у его семьи, у его друзей и у славы его страны; мы провели вместе вечер и много говорили о моей риторике для молодых девиц, которая тогда наконец только что появилась. Господин Пушкин мне сказал: „Я хотел бы сделать обстоятельный обзор вашего сочинения; вы

о «Пире Петра Первого» Пушкина. — Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.—Л., 1963, с. 50—51.

³ Об этом см.: Мануйлов В. А. и Модзалевский Л. Б. «Полководец» Пушкина. — Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, 4—5. М.—Л., 1939, с. 125—164; Черейский Л. А. К стихотворению Пушкина «Полководец». — Временник Пушкинской комиссии. 1963. М.—Л., 1966, с. 56—58; Кока Г. Пушкин о полководцах двенадцатого года. — «Прометей», № 7, 1969, с. 17—37; Вацуро В. Э. «Полководец». — В кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 259—266.

⁴ Еремин М. Пушкин-публицист. М., 1963, с. 262.

⁵ Там же.

знаете, с каким интересом я отношусь к учебным заведениям ведомства ее величества императрицы и вообще к женскому образованию в России; вы сделали им истинный подарок“. Князь Х... присутствовал при этой беседе». ⁶

Теме отечественного просвещения была посвящена и статья П. Б. Козловского «Разбор парижского математического ежегодника на 1836 год». Автор ее — человек энциклопедических знаний, прекрасный знаток древних языков и последних достижений математической науки, много лет живший в странах Западной Европы (когда-то при Александре I он был на дипломатической службе, затем ушел в отставку и бывал за границей для собственного удовольствия и образования); внимательный наблюдатель, П. Б. Козловский отмечает значительные успехи в распространении научных знаний во Франции и Англии; ученые этих стран не гнушаются покинуть свои кабинеты, и многолюдные аудитории с интересом и пользой слушают их лекции. В России же, как замечает автор, наука все еще остается достоянием небольшого круга ученых. Почему? «Некоторые полагают, что издавна у нас введенная постепенность в гражданскую жизнь, совсем неизвестная для Европы, мешает способностям молодых людей развиваться и совершенствоваться посвящением многих лет, потому что и при самом успехе не получили бы они в обществе того веса и тех преимуществ, которые ежедневными и по большей части незначущими канцелярскими упражнениями они необходимо приобретут с течением времени и с получением гражданских чинов; что лихорадочное стремление, неизбежно мучающее служащих и их родственников, к достижению таковых повышений, иногда и не распространяющих круга их деятельности, но всегда лестных для малого честолюбия, отнимают спокойствие духа, необходимое для наук». ⁷

⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5249, л. 1 (перевод с французского). — Подлинный текст письма см.: Гиллельсон М. И. Из архива Вяземских. Пушкин и Трико. — Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л., 1967, с. 44—47. — Там же дан реальный комментарий к статье П. А. Плетнева. Князь Х... — Хилков Дмитрий Александрович (1789 — не ранее 1860) — участник Отечественной войны 1812 г., с 1816 года в отставке, в 1825—1828 годах секретарь императрицы Марии Федоровны

⁷ «Современник», 1836, т. 1, с. 246—247.

«Издавна у нас введенная постепенность в гражданскую жизнь» — это пресловутая табель о рангах, всеобъемлющая чиновная иерархия, отвлекающая, по мнению автора, молодое поколение от стремления раскрыть свои таланты и дарования на научном поприще. Как известно, недовольство табелью о рангах высказывал и Пушкин; правда, свое неодобрение этой бюрократической лестницы Пушкин мотивировал иными причинами, нежели П. Б. Козловский; табель о рангах, по мнению Пушкина, распатывала социальные устои независимого старинного дворянства, открыв доступ в господствующее сословие выходцам из других слоев общества. Два различных аргумента против чиновной иерархии дополняли друг друга, и Пушкин, надо думать, с сочувствием воспринял мысль П. Б. Козловского о том, что табель о рангах препятствует стремительному развитию отечественной науки.

П. Б. Козловский далеко вышел за пределы своей темы; разбор содержания «Парижского математического ежегодника» послужил для него лишь удобным поводом поделиться с читателем общими рассуждениями о распространении просвещения и популяризации научных знаний на Западе и в России. Возможно было ожидать цензурных препон, и когда подобные опасения не оправдались, то Пушкин с радостью писал Вяземскому: «Ура! наша взяла. Статья Козловского прошла благополучно, сей час начинаю ее печатать. Но бедный Тургенев!... все политические комеражы его остановлены. Даже имя Фиески и всех министров вымараны...» (XVI, 92).

Пушкин имеет в виду эпистолярную корреспонденцию А. И. Тургенева «Париж. Хроника русского», которая печаталась в первом номере «Современника» вслед за статьей П. Б. Козловского. И хотя А. И. Тургенев признается, что он «совсем неохотник до наук точных», он советует следить за их развитием, ибо «иначе взгляд на мир нравственный, на мир интеллектуальный и даже политический будет не верен». ⁸ Слова А. И. Тургенева звучат в унисон со статьей П. Б. Козловского. «С тех пор, как я справляюсь об успехах машин и о газе, я лучше сужу о Лудвиге XIV и о Петре Великом», ⁹ — пишет А. И. Тургенев.

⁸ «Современник», 1836, т. 1, с. 264.

⁹ Там же.

Красочные картины народных гуляний чередуются в корреспонденциях «Париж. Хроника русского» с беглым описанием театральных спектаклей, изложением религиозных проповедей, рассказом о посещениях литературных салонов, сообщениями о новых произведениях Гюго, Шатобриана и Ламартина, о чтении только что появившихся журналов и брошюр, с характеристикой французских государственных деятелей. По оплошности цензура даже пропустила пересказ (и очень сочувственный!) биографии известного революционера Буонаротти, участника заговора Бабефа. Зато подробное описание судебного процесса над Жозефом Фиески и его товарищами, организовавшими в 1835 году покушение на французского короля Луи Филиппа, не было допущено к печати. 23 марта 1836 года цензор А. Л. Крылов писал в Цензурный комитет о корреспонденции А. И. Тургенева: «Находя в оной наряду со сведениями литературного содержания и такие известия, которые помещают исключительно в повременных изданиях политических, как-то: о Фиески с другими подсудимыми, переменах министерства, спорах об уменьшении процентов и т. п., я почитаю сам не вправе допустить к напечатанию такого рода письмо вполне, без разрешения начальства; почему, отметив карандашом сомнительные места, имею честь представить оные на благоусмотрение комитета. Вместе с тем долгом почитаю обратить внимание комитета и на другую статью, для того же повременного издания, под заглавием: «Применение системы Галля и Лафатера к изображению пяти подсудимых» (т. е. Бешера, Фиески, Буаро, Пепена и Морья). Последняя статья хотя и не принадлежит к разряду новостей политических, однако ж относится до одного из тех предметов, о которых я имею честь испрашивать разрешения».¹⁰ Дело дошло до министра народного просвещения С. С. Уварова, по личному указанию которого и были произведены цензурные изъятия.¹¹ Статья же «Применение системы Галля и Лафатера

¹⁰ Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Отв. редактор Н. В. Измайлов. Л., 1969, с. 297 (комментарий В. Э. Вадура).

¹¹ Публикацию мест, исключенных цензурой из корреспонденций А. И. Тургенева, см.: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.—Л., 1964, с. 515—516; Вадура В. Э., Гялелльсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 233—236.

к изображению пяти подсудимых», которая была переводной и являлась дополнением к корреспонденции А. И. Тургенева, вовсе была запрещена и в «Современнике» не появилась.

«Париж. Хроника русского» А. И. Тургенева — образец «документальной» прозы, которая пользовалась особой симпатией Пушкина. Достаточно напомнить, что в первом номере «Современника» было опубликовано еще два интересных произведения этого жанра:

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» Пушкина;

«Долина Ажитугай. За Кубанью 3 июня 1834» Султана Казы Гирея.

Отрывок из «Путешествия в Арзрум» под заглавием «Военная грузинская дорога. (Извлечено из путевых записок А. С. Пушкина)» был опубликован еще в «Литературной газете» (1830, № 8), с вынужденными исправлениями, вызванными цензурскими замечаниями Николая I.¹² Естественно, что эти «поправки» перекочевали и в текст «Современника». Кроме того, печатая теперь полный текст «Путешествия в Арзрум», Пушкин вынужден был исключить колоритный рассказ о своей встрече в Орле (куда он нарочно заехал, проскакав лишних 200 верст) с некогда всесильным проконсулом Кавказа, опальным генералом А. П. Ермоловым.

Но были не только потери. В пятую главу «Путешествия в Арзрум» Пушкин включил свое стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят» (1830), выдав его за перевод «начала сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу». В последние годы жизни Пушкин все чаще прибегал к литературным мистификациям, — обстоятельства вынуждали говорить обиняками и намеками.

Стихотворение построено на контрасте двух городов — сладострастного Стамбула, позабывшего истинную веру отцов, соблазненного пороками других народов, и аскетического Арзрума, свято соблюдающего благие обычаи старины.

Стамбул отрекся от Пророка,
В нем правду древнего Востока

¹² Зенгер Т. Николай I — редактор Пушкина. — ЛН, т. 16—18, с. 518—521; Рыский, с. 27—28; Левкович Я. Л. К цензурной истории «Путешествия в Арзрум». — Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л., 1967, с. 34—37.

Лукавый Запад омрачил;
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил;
Стамбул отвык от поту битвы,
И пьет вино в часы молитвы.
В нем веры чистый луч потух,
В нем жены по базару ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят
И спят подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум.
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черпем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.
Постимся мы; струею трезвой
Одни фонтаны нас поят;
Толпой безтрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены там сидят.

По справедливому предположению Д. Д. Благого, «Пушкин, приписывая свои стихи турецкому поэту, маскировал их широкое социальное содержание, злободневное и с точки зрения современной ему русской действительности».¹³ Нам остается лишь кратко пересказать убедительную аргументацию исследователя. Объясняя читателям замысел своего стихотворения, Пушкин писал о том, что «между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою» (VIII, 478). Мифическое соперничество этих двух городов прикрывало действительное соперничество Москвы и Петербурга. Пушкин писал об этом в статье «Путешествие из Москвы в Петербург», но напечатать свои публицистические размышления ему не удалось. Даже четыре строки о соперничестве двух столиц, вставленные Пушкиным во вступление к «Медному всаднику», были перечеркнуты Николаем I. Пушкину пришлось прибегнуть к обходному маневру, чтобы обмануть бдительность цензуры и Николая I. Пушкин как бы проецирует вырождение и историческое поражение янычар (15 июня 1826 года Мах-

муд II разгромил восстание янычар в Константинополе и заменил их регулярными войсками) на судьбу «древней русской аристократии», борющейся с Петром I и его преемниками.

Доводы Д. Д. Благого получают теперь еще большую весомость и неотразимость. Мы могли убедиться, какими ожесточенными были споры писателей пушкинского круга вокруг проблемы «Россия и Запад». Эти споры неотделимы от оценки русского исторического процесса и роли в нем основных сословий. Естественно, что Пушкин стремился предать гласности свои мысли, касавшиеся оскудения старинных дворянских родов, судьба которых особенно волновала писателя. И как только ему удастся получить в свои руки печатный орган, он начинает печатать — то в полном, то в урезанном виде — лежавшие под спудом произведения, отражавшие эту социально-историческую проблематику. Это и стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят», с его завуалированным восточным сюжетом; и маленькая трагедия «Скупой рыцарь», с пророчеством грядущего разорения барона Филиппа, с явной антитезой богатого старинного дворянина и толпы «ласкателей, придворных жадных», «в атласные дырявые карманы» которых скоро «потекут сокровища» его; и «Родословная моего героя», где схожее противопоставление древнего и нового дворянства развертывается на материале отечественной истории. Уже Д. Д. Благой отметил близость идейных импульсов, способствовавших возникновению этих трех произведений.¹⁴ Напомним, что стихи о Стамбуле и Арзруме и трагедию «Скупой рыцарь» Пушкин напечатал в первом номере «Современника», «Родословную моего героя» — в третьем. Автобиографический характер последней и ее крайняя полемичность, вызванная стремлением отразить резкие журнальные нападки на «Современник» и его издателя, делают эту поэтическую декларацию и волнующим человеческим документом, и ярким публицистическим произведением. Но анализировать это программное стихотворение Пушкина преждевременно — мы вернемся к нему при разборе третьего номера «Современника».

В первом номере «Современника» обильно представлена «документальная» проза («Путешествие в Арзрум»,

¹³ Благой Д. Социология творчества Пушкина. М., 1929, с. 191.

¹⁴ Там же, с. 183—188

«Долина Ажитугай», «Париж. Хроника русского»). И в последующих номерах Пушкин охотно печатает произведения мемуарного и хроникального характера: во втором номере — записки Н. А. Дуровой (тщательно им отредактированные), статьи-репортажи самого издателя «Российская академия» и «Французская академия»; в третьем — «О партизанской войне» Дениса Давыдова, «Прогулка по Москве» М. П. Погодина, «Наполеон и Юлий Цезарь» Вяземского, «Вольтер» Пушкина и исторические анекдоты, записанные им же; в четвертом — «Занятие Дрездена. 1813 года 10 марта (Из дневника партизана Дениса Давыдова)», продолжение корреспонденций А. И. Тургенева «Париж. Хроника русского».

Пристрастие к «документу», призыв к фиксации исторических фактов (включая в них исторические анекдоты и легенды как гиперболическое отображение истинных событий, настроений, социальной психологии) свойственны в 1830-е годы и Пушкину-художнику, и Пушкину-историку. «Наша народная память незаботлива и неблагодарна. Поглощаясь суетами и сплетнями нынешнего дня, она не имеет в себе места для преданий вчерашнего», — писал Вяземский в монографии о Фонвизине. Читая эти строки в рукописи, Пушкин отчеркнул их и написал против них: «Прекрасно».¹⁵ Мысль Вяземского совпала с размышлениями Пушкина, — еще в «Путешествии в Арзрум» он писал: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» (VIII, 462).

Пренебрежение прошлым казалось Пушкину чертой дремучего невежества. Недаром он пытался напечатать в «Современнике» «Записку о древней и новой России» Карамзина, недаром помещал в нем воспоминания участников Отечественной войны 1812 года, печатал свои и чужие путевые записки.

«Вот явление, неожиданное в нашей литературе! — писал издатель «Современника» в послесловии к «Долине Ажитугай». — Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не

¹⁵ Новонайденный автограф Пушкина, с. 17.

хотели переменить в предлагаемом отрывке; любопытно видеть, как Султан Казы-Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и преданиям наследственным, как русский офицер помнит чувства ненависти к России, волновавшие его отроческое сердце; как, наконец, магометанин с глубокой думою смотрит на крест, *эту хоругвь Европы и просвещения*» (XII, 25).

Можно себе представить, как обрадовался Пушкин, получив рукопись путевых впечатлений Султана Казы Гирея. Ведь о черкесах Пушкин сам писал в «Путешествии в Арзрум» — и об их воинственных набегах, и о том, что христианство будет способствовать сближению с ними. Теперь рядом со своими размышлениями о черкесах Пушкин мог поместить строки «сына полудикого Кавказа» — они свидетельствовали о том, что автор «Путешествия в Арзрум» не уклонился от истины, не так-то легко будет черкесам забыть разорение их аулов; но вера в то, что такие времена наступят, воодушевляла и Пушкина, и Султана Казы Гирея, закубанского черкеса, служившего с 1830 года в Петербурге юнкером Кавказско-горского полурэскадрона. За несколько лет жизни в столице он в совершенстве овладел русским языком и мог даже писать на нем свои путевые записки, доставленные в «Современник» А. Н. Муравьевым.¹⁶

В первом номере «Современника» также напечатана критическая статья Пушкина, написанная по поводу выхода в свет «Собрания сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского, изд. протоиереем Иоанном Григоровичем»; статья помещена анонимно. Статья состоит из четырех частей: биография Георгия Кониского, написанная Пушкиным по материалам его жизнеописания, собранным И. Григоровичем; перепечатка избранных мыслей Георгия Кониского; характеристика рукописи «История Русов или Малой России», которая в те годы ошибочно приписывалась Георгию Конискому (ее истин-

¹⁶ Подробнее об этом см.: Турчанинов Г. Ф. Султан Казы Гирей — корреспондент пушкинского «Современника». — Временник Пушкинской комиссии. 1967—1968. Л., 1970, с. 33—46. — Во втором номере «Современника» напечатан «Персидский анекдот» Султана Казы Гирея. Этими двумя произведениями, по-видимому, и ограничилась его литературная деятельность.

ный автор — украинофил Г. А. Полетика); две обширные выдержки из этой истории: «Введение унии» и «Казнь Острианицы».

Жизнь Георгия Кониского, ревностного защитника интересов православия в белорусских землях, входивших в XVIII веке в состав польского государства, давала счастливую возможность воскресить в памяти читателей историю отношений России и Польши, — эта тема, как мы знаем, особенно волновала Пушкина в 1830-е годы. Самым же существенным для Пушкина было то, что в статью о Георгии Кониском он смог включить несколько листов рукописной «Истории Русов». Как вспоминал позднее О. М. Бодянский, «издания печатью „Истории Русов“ напрасно добивались Устрялов, Пушкин, Гоголь».¹⁷ По утверждению Ю. Г. Оксмана, вкрапление отрывков из «Истории Русов» в статью Пушкина являлось, по сути дела, литературной контрабандой, умелым обходом цензурного запрета. Именно с этим историческим памятником связан неосуществленный замысел Пушкина написать историю Украины, который по свидетельству М. П. Погодина, относится к весне 1829 года.¹⁸ Выход в свет труда Д. Н. Бятыш-Каменского «История Малой России» новым изданием весной 1830 года, по-видимому, охладил Пушкина. Однако внешнеполитические события начала 1830-х годов снова привлекли его внимание к этой теме. «Оживление интереса Пушкина к проблемам истории Украины датируется 1831 годом, годом продолжавшегося польского восстания. Возвращение великого поэта к работе над „Историей Русов“ в это время следует поставить в прямую и непосредственную связь с его тирадами, тоже 1831 года, об исторических судьбах Украины — в „Бородинской годовщине“ и в ответе „Клеветникам России“. <...> Обращение к „кровавым скрижалям“ многовековой борьбы украинского казачества и крестьянства с шляхетской Польшей должно было, по замыслу Пушкина, исторически документировать беспочвенность тех притязаний на „наследие Богдана“, которые с таким „шумом“ были заявлены польскими магнатами в Варшаве и

¹⁷ Чтения в Московском обществе истории и древностей российских, кн. 1. М., 1871, с. 221—222.

¹⁸ РА, 1882, № 5, с. 80—81. Письмо к С. П. Шевыреву от 29 апреля 1829 г.

с еще большею политическою безответственностью подержаны в Париже...»¹⁹

Пушкин предполагал вернуться к истории русско-польских отношений в третьем номере «Современника». Не позднее начала августа 1836 года Пушкин получил от Ф. Ф. Вигеля письмо, к которому была приложена статья «Быстрый взгляд на историю славян»; в ней автор вслед за историческим очерком взаимоотношений России и Польши обращался к современному положению польского вопроса; именно заключительная часть статьи, в которой Ф. Ф. Вигель переложил в прозу основную мысль стихотворения Пушкина «Клеветникам России», не была допущена цензурой к печати; власти, по-видимому, полагали, что острая, публицистическая статья Ф. Ф. Вигеля может вызвать враждебные выпады в западноевропейской прессе. В урезанном цензурой виде статья не удовлетворила Пушкина, и он не стал помещать ее в «Современнике».²⁰ Таким образом, тема польско-русских отношений, начатая статьей о Георгии Кониском, не получила своего продолжения на страницах пушкинского печатного органа.

Документальные, хроникальные, публицистические и критические статьи преобладают как в первом, так и в последующих номерах пушкинского «Современника». Пушкин обладал обостренным чувством времени; одним из первых своих современников он понял, что поэзия утрачивала свое первенствующее положение. Все большее значение приобретала проза — и не только художественная. «... русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии, — писал Пушкин Вяземскому 13 июля 1825 года. — Дай бог ему когда-нибудь образоваться, наподобие французского (ясного, точного языка прозы — т. е. языка мыслей)» (XIII, 187). Пожелание Пушкина начинало сбываться, — все больше отшлифовывался язык прозы; и не последнюю роль в образовании «русского метафизического языка» сыграло творчество Пушкина и его литературных соратников.

¹⁹ ЛН, т. 58, с. 215—216.

²⁰ Подробнее об этом см.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Л., 1968, с. 252—253, где обоснована передатировка письма Ф. Ф. Вигеля.

Трудно сказать с достоверностью, почему в иные эпохи происходят разительные перемены в читательском вкусе. Вероятно, в конечном счете эти «метаморфозы» вызываются подспудными социальными факторами. Так или иначе, но совершенно очевидно, что в 1830-е годы происходит стремительное расширение границ прозаических жанров и возрастание удельного веса прозы в отечественной словесности. Этот общий процесс отразился и на содержании пушкинского «Современника», в котором, правда, появились превосходные стихотворения Пушкина, Тютчева, Кольцова и некоторых других поэтов, но тем не менее не они определяли «лицо» нового печатного органа.

В первом номере «Современника», помимо «Ночного смотра» Жуковского и мадригального стихотворения Вяземского «Роза и кипарис», посвященного графине М. А. Потоцкой, напечатаны три поэтических произведения Пушкина — «Пир Петра Первого», «Из Шенье» и «Скупой рыцарь».

«Скупой рыцарь» Пушкина и статья Е. Розена «О рифме», напечатанная вслед за этой маленькой трагедией, составляют своеобразный журнальный «дует». Пушкин, вероятно, с умыслом поместил их рядом. Белый стих трагедии, в которой наперечет рифмованные строки, соседствует с пылкой инвективой Е. Розена, восставшего против засилья рифмы в поэзии, заклеившего рифму побрякушкой, коей человечеству свойственно и приличествует забавляться лишь в незрелом возрасте. И то не всем народам. «Если бы во времена Софокла и Горация появилась трагедия или ода с рифмами, что сказали бы Греки и Римляне, эти превосходные ценители изящного в мире чувственности, к которой относятся и рифма? Подумали ли бы они, что рифма в течении веков делается поясом Венеры, необходимым для важной, величественной Юноны, чтоб пленять? Нет сомнения, что тонкий слух этих народов, столь хорошо понимавший все таинственные прелести *ритма*, содрогнулся бы от рифмы, как от непростительного варваризма!»²¹ — такой стремительной атакой начинает свое нападение на рифму Е. Розен. И словно оправдывая рифмованные строки в белом стихе трагедии «Скупой рыцарь», автор замечает, что к рифмам

иногда прибегал и Овидий — не красоты ради, а «ради удачного выражения» («он только *терпел* этим грехам».²²

Е. Розен прослеживает родословную рифмы — арабы, испанцы, итальянцы, французы, немцы, англичане покорили себя ее ярму. Но и у этих народов встречаются поэты, восстающие против ее владычества. Автор вспоминает итальянского поэта Джанджорджо Триссино (1478—1550), современника Ариосто, дерзнувшему написать белым стихом трагедию «Софонизба» (1515) и эпопею «Италия, освобожденная от готов» (изд. 1547—1548); с одобрением упоминает он имена Аннибала Каро (1507—1566), Антона-Мариа Сальвини (1653—1729) и Александра Маркетти (1633—1714), обратившихся к белому стиху при переводе на итальянский язык Вергилия, Гомера и Лукреция. Знаток немецкой поэзии, Е. Розен особенно ценит почин автора «Мессиады». «Величайший из всех лирических поэтов, *Клопшток*, ее <т. е. рифму. — М. Г.> отвергнул; могла ли бы она существовать при этой сжатости, при этом богатстве, при этой возвышенности мыслей? Свидетельство его од *против* рифмы сильнее и убедительнее, нежели звучный хор свидетельств целого Юга в ее пользу!»²³

«Обратимся к древней Руси, — пишет Е. Розен. — Здесь, в отношении к рифме, представляется нечто замечательное. Русские до того любят созвучие, что разрешили своему языку все плеоназмы; русские так охотно замыкают свои пословицы и поговорки рифмой, но, между тем, не покорились ей в своей народной поэзии! Чем объяснить это мнимое противоречие? <...> Оттого, что считали ее *шуткою*, а шутить не думали своею песнею, т. е. священной истиною душевных излияний. Как балалайка и бубен ладят только с веселием русским, так и рифма согласуется только с красным словом русского балагура!»²⁴

Вряд ли Пушкин разделял уничижительное мнение Е. Розена о рифме; но страстная защита безрифменного стиха, к ритмической гармонии которого столь охотно склонялся Пушкин в зрелые годы своего творчества, безусловно должна была вызвать благожелательное внимание издателя «Современника».

²² Там же, с. 132.

²³ Там же, с. 148.

²⁴ Там же, с. 137—139.

²¹ «Современник», 1836, т. 1, с. 131.

Белый стих уже отменно зарекомендовал себя в русской поэзии опытами Державина, Гнедича, Жуковского, Дельвига и Пушкина, напоминает читателям автор. «Замечательно, что тот поэт, который по свойству своего гения довольно далек от духа народного, *Жуковский* (знаем, что он певец Светланы) теперь более всех совпадает с чувством русского народа относительно рифмы: он от нее решительно отложился!»²⁵

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И грожко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны.

Чеканным белым стихом перевел Жуковский балладу австрийского поэта Иосифа-Христиана фон Цедлица. Перевод этот был сделан в начале 1836 года, прочитан в дружеском кругу и всячески одобрен Пушкиным. «А ты мою пиесу унес и уже в цензуру хватил, — писал Жуковский Пушкину в марте 1836 года. — Нет, голубчик, в первую книжку ее никак не помещай. Она годится может быть после, но для дебюта нельзя. Прошу тебя не помещать в 1 номер» (XVI, 91). Но Пушкин настоял на своем и напечатал «Ночной смотр» в первом номере «Современника». Перевод был хорош и сам по себе, и к тому же он служил отличной иллюстрацией к словам Е. Розена о Жуковском.

Автор статьи «О рифме», как и другие писатели пушкинского круга, знал, что последние годы Жуковский переводил гекзаметром и отрывки из «Илиады», напечатанные в «Северных цветах» на 1829 год, и «Войну мышей и лягушек», отданную им в «Европеец» (1832, № 2), и повесть немецкого писателя Фридриха де ла Мотт Фуке «Ундина», над переложением которой Жуковский трудился в 1832—1836 годах. Впрочем, к белому стиху Жуковский прибегал и ранее («Красный карбункул», 1816;

«Тленность», 1816; перевод драмы Шиллера «Орлеанская дева», 1817—1821; «Две были и еще одна», 1831). В свое время пристрастие Жуковского к белому стиху вызвала язвительную эпиграмму Пушкина (1818):

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль: что, если это проза,
Да и дурная?..

Первые две с половиной строки эпиграммы повторяли начало стихотворения Жуковского «Тленность». Но с тех пор прошло почти два десятилетия, и Пушкин стал значительно благосклоннее относиться к белому стиху. Можно предполагать, что рифма и белый стих не раз были предметом горячих дебатов в пушкинском кругу писателей, и, таким образом, статья Е. Розена «О рифме» является творческим откликом на эти дружеские беседы. 19 февраля (3 марта) 1849 года Жуковский, рассказывая в письме к Вяземскому о своем переводе «Одиссеи», писал: «... большое наслаждение биться на кулачки с таким молодцом, как Гомер (лишь бы только не выйти из боя с разбитым рылом); но кажется этого не будет; сколько можно самого себя судить, мой перевод довольно близко выражает Гомеровскую старину и простоту, и вторая половина, кажется мне, святее первой: я врзался в свойство Гомеровых стихов (и этим обязан я Пушкину, то есть его критике на некоторые стихи мои в первых опытах подражания Гомеру)».²⁶ Перед нами документальное свидетельство того, что перевод отрывков из «Илиады», сделанный Жуковским в конце 1820-х годов, подвергался критическому рассмотрению со стороны Пушкина, — и это лишний раз подтверждает наше предположение о том, что статья Е. Розена «О рифме» является отголоском бесед Пушкина и его литературных соратников, их споров о будущем русского стиха.

«Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху, — писал Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург». — Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. *Пламень* неминуемо тащит за собой *камень*. Из-за чувства выглядывает непременно *искусство*. Кому не надоели *любовь и кровь, трудной и чудной, верной и лицемерной* и проч. Много говорили о настоя-

²⁵ «Современник», 1836, т. 1, с. 151.

²⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1909, л. 111.

пцем русском стихе. А. Х. Востоков определил его с большою ученостию и сметливостию. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным» (XI, 263).

Покров, упитанный язвительною кровью,
Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью
Алкиду передан.

Именно с этой традиционной рифмы, над которой Пушкин не без основания подшучивал, начинается его перевод стихотворения Андре Шенье, напечатанный в первом номере «Современника». Обойтись без этих назойливых рифм было просто невозможно, и естественно, что Пушкина волновала ограниченность репертуара русской рифмы. Он, как и большинство поэтов первой половины XIX века, был приверженцем точной рифмы, ограниченные возможности которой были ему отчетливо видны; отсюда и повышенное внимание к белому стиху. «В начале лицейского периода Пушкин находился под некоторым влиянием державинской традиции, и у него можно найти неточные рифмы. Затем он переходит на новую систему точных рифм...»²⁷ Неточная рифма противоречила самой сокровенной сущности его поэтического дарования, стремившегося к ясности и точности форм.

Деятельное участие в первом номере «Современника» принял Гоголь; на его страницах он выступил и прозаиком, и драматургом, и критиком, и рецензентом (повесть «Колыска», «Утро делового человека. Петербургские сцены», критическая статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», рецензии на многие книги). Вспоминая в 1846 году эту страницу своей биографии, Гоголь писал П. А. Плетневу: «„Современник“ да же и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал, несмотря на то что Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполнению. Он хотел сделать четвертное обозрение в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманые и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем сильною желанья издавать этот журнал в нем не

²⁷ Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959, с. 416.

было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живее к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили; но слова моего я бы не мог исполнить даже и тогда, если бы он был жив. Не знал я, какими путями поведет меня провиденье, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека».²⁸

Целое десятилетие отделяет мемуарное свидетельство Гоголя от реальных событий. Десять лет срок большой. Особенно значительным он оказался для Гоголя, успешного за эти годы пройти трудный путь от «Ревизора», «Шинели» и «Мертвых душ» до «Выбранных мест из переписки с друзьями». Это был путь, приведший его к душевному кризису и творческой депрессии. Тяжелое настроение, овладевшее им, окрасило в соответствующие тона и его воспоминание о пушкинском «Современнике». Гоголь всячески подчеркивает юношеский энтузиазм, с которым он воспринял известие о новом печатном органе, и усталость Пушкина, его отрешенность от «низменной» действительности; в его интерпретации Пушкин выглядит Гоголем середины 1840-х годов. Эта невольная «абerrация» вынуждает нас с особой осторожностью относиться к словам Гоголя. Не для того Пушкин хлопотал об издании «Современника», чтобы отказываться от этого начинания, — ведь несколько лет подряд он мечтал получить в свои руки печатный орган. Но вряд ли Гоголь полностью запамятовал свои разговоры с Пушкиным; скорее всего он лишь несколько сместил акценты. Приглашая Гоголя участвовать в «Современнике», Пушкин мог сказать, что его материалы и помощь нужны ему до зарезу, что без его поддержки он не может приступить к изданию. Пушкин умел уговаривать и во время разго-

²⁸ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1952, с. 422.

вора мог воодушевиться и в гиперболических выражениях обрисовать ситуацию. Теперь, десять лет спустя, Гоголь вполне всерьез вспоминает слова Пушкина, хотя в момент разговора он скорее всего чувствовал преувеличенный характер его высказываний. И хотя при подобном смещении акцентов Гоголь невольно преувеличивает свою роль, остается непреложным то обстоятельство, что, приступая к изданию «Современника», Пушкину нужен был молодой и энергичный помощник, каким и стал для него Гоголь.

Участие Гоголя в «Современнике», его взаимоотношения с Пушкиным в первой половине 1836 года вызвали целый поток исследовательской литературы.²⁹ Высказывались самые различные точки зрения: одни ученые подчеркивали близость литературно-общественной позиции обоих писателей, другие прежде всего обращали внимание на имевшие место расхождения. Обнаружение экземпляра «Современника», в оглавлении которого статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» значилась как статья Гоголя, привело к различным гипотетическим построениям относительно причин, побудивших в последнюю минуту снять имя автора и печатать ее анонимно.

На наш взгляд, журнальные расхождения между Пушкиным и Гоголем имели *тактический* характер. В статье Гоголя содержались резкие выпады против «Библиотеки для чтения» и других петербургских изданий. К началу апреля 1836 года стало очевидно, что «Современник» будет встречен сильной оппозицией других журналов; лихие печатные наскоки на него начались еще до выхода в свет первого номера. Пушкин убедился в том, что обстоятельства требуют более гибкой журнальной политики. В эти дни он писал В. Ф. Одоевскому: «Думаю 2 № начать статью вапшей, дельной, умной и сильной — и которую хочется мне наименовать *О вражде к просвещению...*» (XVI, 100). В. Ф. Одоевский тоже

²⁹ Обзор литературы о пушкинском «Современнике», включая и вопрос об участии в нем Гоголя, см. в коллективной монографии «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» (М.—Л., 1966, с. 228—235); автор обзора — В. Э. Вацуро. Позднее появилось обстоятельное исследование Н. Н. Петруниной и Г. М. Фридендера «Пушкин и Гоголь в 1831—1836 годах» (Пушкин. Исследования и материалы, т. VI. Л., 1969, с. 197—228).

метил в Ф. Булгарина и О. Сенковского, развенчивал эпитетский, подражательный «стиль» их сочинений. Но при этом ни одного имени автор не произносил, ни на одну личность прямо не указывал.

В. Ф. Одоевский учел желание Пушкина; статью свою он назвал «О вражде к просвещению, замечаемой в нынешней литературе»; под статьей поставлен один из многочисленных псевдонимов писателя — С. Ф. Но она напечатана не в начале второго номера, а в середине; по-видимому, такая перестановка была произведена по инициативе В. Ф. Одоевского, который во время длительного отсутствия Пушкина в столице принимал ближайшее участие в подготовке этого тома к печати.

В. Ф. Одоевский энергично осуждает вражду к просвещению, возникшую в Западной Европе как парадоксальный результат быстрого и многостороннего движения просветительских идей во все классы общества: «...в это же время демократический дух повеял на Европу; к нему присоединился дух партий — и из всего этого составилась новый действительно чудовищный род литературы, основанный на презрении к просвещению, исполненный ребяческих жалоб на несовершенство ума человеческого, ребяческих воспоминаний о счастливом невежестве предков, возгласов против философии, против машин и наконец исполненный преступных похвал черни и мужеству ремесленников, разрушающих прядильные машины. Этот род литературы явился в Европе во всех возможных видах: и повестей, и водевилей, и догматических прений; одни хватались за него как за средство сказать нечто противное общему здравому смыслу и, следовательно, все-таки нечто новое, другие по причинам вовсе не литературным».³⁰

По мнению В. Ф. Одоевского, вражда к просвещению в Западной Европе понятна, хотя и прискорбна: сильное действие породило сильное противодействие. Еще печальнее эта вражда в России, где просвещение сделало лишь первые шаги. От романистов-сатириков иностранных авторов переходит к обличению русских сатириков. Выпады В. Ф. Одоевского направлены прежде всего против нравственно-сатирических произведений Ф. Булгарина. Эти доморощенные сатирики, возглавляемые Ф. Бул-

³⁰ «Современник», 1836, т. 2, с. 209.

гариним, поставщики мелкотравчатой сатиры, гонители истинного просвещения: «... вместо того чтобы посмотреть вокруг себя, углубиться в отечественные нравы, в них отыскать им свойственные оригинальные черты, способные быть перенесенными в мир литературный, они, поставленные счастливою судьбою среди народа свежего, юного, в эпоху самую драматическую, которая только может быть в истории страны, эпоху слияния народности с общею образованностью, — наши сатирики не заметили ничего этого, а по старой памяти пустились в подражание иностранцам: они напали... как вы думаете на что? На просвещение! Как будто это юное растение, посаженное мудрой десницей Петра и донные с такими усилиями поддерживаемое Правительством и — извините — одним Правительством, как будто оно достигло уже полного развития, утучнело, уже производит те ненужные отпрыски, которые замечаются в старой Европе!... Нет, может быть, никогда дух подражания, владычествующий над нашей литературою, не был столь пагубен! Не против злоупотребления науки вооружились наши сатирики, но против самой науки; забыты примеры Фонвизина, Капниста, Грибоедова, их глубокое знание современных нравов, их верный взгляд на наши недостатки, их благородное стремление... Отличительным характером наших сатириков сделалось — попадать редко и метить всегда мимо».³¹

В. Ф. Одоевскому удалось избежать частных нападок, столь распространенных в журнальной полемике. Он не имел нужды называть поименно писателей, которые подвергались осуждению, потому что его возражения имели общий характер, преследовали не отдельные погрешности и недостатки, а целое направление нравственно-сатирической литературы, несовместное с истинной сатирой. Подобная широкая постановка вопроса безусловно привлекла Пушкина. Издателю «Современника» также должны были импонировать рассуждения В. Ф. Одоевского о том, что нравственно-сатирическая литература по своей антипросветительской сущности противостоит усилиям правительства. Достаточно вспомнить известный разговор Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем, во время которого Пушкин утверждал, что «все

³¹ «Современник», 1836, т. 2, с. 209—210.

Романовы революционеры и уравнители». Мысль о прогрессивной роли правительства, наряду с резкой критикой различных мероприятий, законов и даже беззакония, была близка Пушкину. Статья В. Ф. Одоевского казалась Пушкину тем ценнее, что она недвусмысленно указывала правительству на то, что нравственно-сатирическая литература, по сути дела, не способствует улучшению нравов и действует вразрез просвещению страны.

Защита истинной сатиры в статье В. Ф. Одоевского переключается с аналогичными рассуждениями в статье П. А. Вяземского о «Ревизоре», напечатанной в том же номере «Современника». П. А. Вяземский утверждал, что большая часть русских комедий — «это снимки с картин чужой или вымышленной природы. В подобных снимках может идти дело о искусстве художника в исполнении, но нет речи о жизни, о верности, о природном сочувствии. Тем более комедия, выходящая из круга сих заимствований, вымыслов, или подделок, должна произвести общее, сильное и разнородное впечатление. Мало у нас подобных комедий: „Бригадир“, „Недоросль“, „Ябеда“, „Горе от ума“ — вот, кажется, верхушка сего тесного отделения литературы нашей. „Ревизор“ занял место вслед за ними».³²

Вяземский горячо защищал Гоголя и его комедию от различных обвинений — литературного порядка, нравственного характера и политического вольнодумства. Подобные обвинения раздавались со всех сторон. Очевидец первого представления «Ревизора» П. В. Анненков вспоминал: «... общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: „Это — невозможность, клевета и фарс“. По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднести ему экземпляр „Ревизора“, только что вышедший из печати, со словами: „Полюбуйтесь на сынку“. Гоголь пхвырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: „Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними, а то все, все...“»³³

Печатным отголоском, журнальным эхом «общественного» мнения явились статьи Ф. Булгарина и О. Сенков-

³² Там же, с. 287.

³³ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 82.

ского. Ф. Булгарин упрекал Гоголя в том, что он основал свою пьесу «на невероятности и несбыточности», утверждал, что «на злоупотреблениях нельзя основать настоящей комедии».³⁴ Иное полагал Вяземский. Опровергая суждения Ф. Булгарина, Вяземский писал: «Но как же требовать, чтобы каждый художник посвятил себя на должность школьного учителя или дядьки? На что вам честные люди в комедии, если они не входили в план комического писателя?»³⁵

Статья Вяземского о «Ревизоре» и статья В. Ф. Одоевского «О вражде к просвещению...» явились достойным ответом писателей пушкинского круга на выступления враждебных печатных органов. Казалось бы, что защита «Ревизора» от облыжных обвинений «Северной пчелы» и «Библиотеки для чтения» должна была вызвать сочувственный отклик Белинского. Но этого не случилось. Белинский воспринял статью Вяземского о «Ревизоре» в полемическом ключе; такая оценка была вызвана предшествующими событиями. В рецензии на первый том «Современника» Белинский задел Вяземского: «избавь нас, боже, от его критик, как и от его стихов».³⁶ В примечании к статье о «Ревизоре» Вяземский на резкость Белинского ответил резкостью. Белинский не остался в долгу, дав отрицательный отзыв на вторую книжку «Современника»: «...она показала явно, что „Современник“ есть журнал „светский“, что это петербургский „Наблюдатель“. <...> разборы „Ревизора“ г. Гоголя и „Наполеона“, поэмы Эдгара Кина, подписанные литерою В., должны совершенно уронить „Современник“».³⁷

Взаимные журнальные нападки Белинского и Вяземского — результат различия их социальной позиции. Передовые дворянские писатели могли в том или другом вопросе, в их вражде к реакционной журналистике сходиться во мнениях с разночинцем Белинским, но это вовсе не свидетельствовало об идентичности их литературных взглядов и вкусов. Правда, Пушкин хотел видеть Белинского сотрудником «Современника». Но, ко-

нечно же, Пушкин не собирался отказаться от своих общественных воззрений; напротив, как будет видно при разборе третьего номера «Современника», он надеялся воздействовать на образ мысли молодого критика.

К литературно-публицистическим материалам второго номера «Современника» относятся напечатанные анонимно две статьи Пушкина: «Российская академия» и «Французская академия».

28 января 1836 год в Париже состоялось заседание Французской академии, посвященное торжественному принятию в нее известного драматурга Огюстена Эжена Скриба (1791—1861). Речи Скриба и Вильмена на этом заседании «сорока бессмертных» были изданы отдельной брошюрой, которую неутомимый А. И. Тургенев переслал Пушкину. Брошюра заинтересовала Пушкина, и он решил в некотором сокращении опубликовать перевод ее на страницах «Современника».

Речь Скриба по заведенному обычаю была панегириком его предшественнику — драматургу и поэту Антуану Венсану Арно (1766—1834), автору многих трагедий, ба-сен и лирических стихотворений; одному из них особенно посчастливилось в русской поэзии — стихотворение «Листок» переводили Жуковский, В. Л. Пушкин, Денис Давыдов и другие поэты. «Участь этого маленького стихотворения замечательна, — писал Пушкин. — Костюшко перед своею смертью повторил его на берегу Женевского озера; Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык...» (XII, 46).

Слава порой приходит к писателю самым неожиданным путем. Петрарка полагал, что обессмертит свое имя эпической поэмой «Африка», написанной по-латыни; потомки же помнят его как автора сонетов и канцон, жемчужин итальянской поэзии. Арно возлагал свои упования на Мельпомену; надежды его оказались тщетными. «Арно сочинил несколько трагедий, которые в свое время имели большой успех, а ныне совсем забыты, — свидетельствовал Пушкин. — Такова участь поэтов, которые пишут для публики, угождая ее мнениям, применяясь к ее вкусу, а не для себя, не вследствие вдохновения независимого, не из бескорыстной любви к своему искусству! Две или три басни, остроумные или грациозные, дают покойнику Арно более права на титул поэта, нежели все его драматические творения» (XII, 46).

³⁴ «Северная пчела», 1836, № 97 (30.IV).

³⁵ «Современник», 1836, т. 2, с. 298.

³⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. II, М., с. 183.

³⁷ Там же, с. 234—237. — В 1856 г. Чернышевский реабилитировал статью Вяземского о «Ревизоре» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч., т. 3, М., 1947, с. 127).

Пушкин был твердо убежден в том, что только независимость писателя от властей и общественного мнения является порукой истинного вдохновения. Рассуждения Скриба о французской комедии позволили Пушкину делиться с читателем своими самыми сокровенными мыслями о тягостном положении писателя в современном обществе. «...я уверен, что ни Лудовик XIV, ни Лудовик XV, ни Наполеон не потерпели бы на театре великих поучений истории и не позволили бы вывести на сцену то, что бы до них близко касалось, — говорил Скриб. — Нынешний комический автор в сем отношении не имеет больше преимущества перед своими предшественниками. У нас раздражительность партий заступила место раздражительности правительства; в наш век свободы мы не вольны изображать на сцене все смешное: всякая партия защищает своих и позволяет занимать смешное лишь у соседа; самое книгопечатание, эта неограниченная власть свободных правлений, книгопечатание хочет говорить правду всему свету, но не любит, чтоб говорили ему истину» (XII, 53).

Вскоре, 5 июля 1836 года, Пушкин напишет стихотворение «Из Пиндемонта», в котором также выскажет свою неприязнь как самодержавной, так и парламентской форме правления:

Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливрей
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданными искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...

Скриб отстаивал мысль о самодовлеющем характере литературных явлений. Французский драматург говорил: «Во время самых жестоких периодов революции, когда трагедия, как говорили, рыскала по улицам, что представлял театр? Сцены человеколюбивые и чувствительные, как например: „Женщины“, „Сыновья Любость“, а в январе 93 года, во время суда над Лудовиком XVI, давали „Прекрасную Мызницу“, комедию пастушескую и чувствительную. Во время империи, в царство славы и побед,

комедия не была победительницею и воинственною! При восстановлении Бурбонов, правлении мирном, лавры, военные мундиры завладели сценою; Талия надела эпюлеты!» (XII, 53).

И хотя Вильмен убедительно возражал Скрибу, утверждая, что век Людовика XIV отразился в комедиях Мольера, что жеманная драма Мариво, Дора и Лану запечатлела утонченный разврат нравов XVIII века, что «Свадьба Фигаро» — «беспечное сведение для истории», тем не менее Пушкину более импонировала точка зрения Скриба. Отсутствие жесткой синхронной зависимости между явлениями литературными и общественными представлялось ему панацеей от необходимости вечно угождать читательскому вкусу и литературным пристрастиям властей (Пушкин, конечно, помнил, как Николай I советовал ему «перелицевать» «Бориса Годунова»). С другой стороны, тезис о связи литературы с политическими событиями давал возможность обскурантам науськивать власти на современных писателей. По всем этим обстоятельствам Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», помещенной в третьем номере «Современника», вступил в полемику с Гоголем, который в обзоре «О движении журнальной литературы» полагал, что нынешняя опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений. «В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархию Людовика XIV, — писал Пушкин. — В самое мрачное время революции литература производила приторные, сентиментальные, нравоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого Восстановления...» (XII, 70). Пушкин почти дословно повторяет мысль Скриба; так историко-литературные дебаты во Французской академии отражались в журнальных полемических выступлениях издателя «Современника».

Рядом со статьей «Французская академия» помещена статья Пушкина «Российская Академия»; ею открывается второй номер «Современника». Пушкин счел необходимым пересказать и дополнить материалы, напечатанные в брошюре «Заседание, бывшее в Российской Академии 18 января 1836 года».

Пушкин недаром полагал, что заседание это «будет памятно в летописях Российской Академии». Непременный секретарь академии Д. И. Языков привел в своей речи извлечения из знаменитой полемики Фонвизина с Екатериной II — «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особое внимание». Во времена Пушкина вопросы Фонвизина и ответы Екатерины II вызвали бы нарекания цензуры, если бы какой-либо журнал захотел их воскресить для современников и потомства. Однако для академической брошюры общие цензурные правила не действовали. Пушкин воспользовался этим обстоятельством и полностью перепечатал те страницы брошюры, на которых была помещена запрещенная полемика. Он справедливо рассудил, что цензуре будет неудобно марать красным карандашом то, что только что было дозволено к печати. Расчет Пушкина полностью оправдался; ему удалось ознакомить читателей «Современника» с этой позабытой страницей русской сатирической литературы XVIII века.

Большое внимание уделяет Пушкин в своем отчете Академическому словарю, привлекая дополнительные сведения, которые отсутствуют в официальной брошюре; тут и пересказ шуток Екатерины II по поводу словаря, и цитата из предисловия Вильмена к Словарю Французской академии 1835 года, и отрывок из речи Карамзина, произнесенной в Российской Академии 5 декабря 1818 года. «Полный Словарь, изданный Академиею, — говорит он, — принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иностранцев; наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями» (XII, 42). В оправдание слов Карамзина Пушкин приводит две красноречивые цифры: французский академический словарь составлялся 60 лет, русский — 6 лет.

Во второй раз имя Карамзина всплывает в конце статьи «Российская академия». «Невозможно было без особенного чувства слышать искренние, простые похвалы, воздаваемые почтенным старцем великому писателю, бывшему некогда предметом жесткой его критики если не всегда справедливой, то всегда добросовестной...» (XII, 45), — писал Пушкин о впечатлении, произведенном на него краткой статьей А. С. Шишкова «Нечто о Карам-

зине», прочитанной на заседании 18 января 1836 года П. А. Ширинским-Шихматовым. Выступление А. С. Шишкова позволило Пушкину сообщить читателям о «потопленном» Карамзине, о его забытом произведении, которое издатель «Современника» хотел сделать общим достоянием. «Пребывание Карамзина в Твери ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его славы памяти, неизвестным еще для современников. По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли о древней и новой России, со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы... прочел и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя и благородство патриота...» (XII, 45).

Несколько месяцев спустя, 15 августа 1836 года, А. Л. Крылов сообщил издателю «Современника», что представленная им записка Карамзина «О древней и новой России» будет отправлена в Главное управление цензуры. Но прошел еще месяц, и лишь 20 сентября председатель Санктпетербургского цензурного комитета М. А. Дондуков-Корсаков направил запрос в Главное управление цензуры, испрашивая разрешение напечатать отрывки из неопубликованного сочинения Карамзина. Сразу же последовал ответ, что записку Карамзина в отличие от «Истории государства Российского», которая была освобождена от цензуры, следует рассматривать на общих цензурных правилах. 11 октября цензор А. Л. Крылов отметил карандашом сомнительные места (их оказалось примерно две пятых всего текста) и представил вновь рукопись в цензурный комитет. Пушкин был осведомлен о мытарствах, которым подверглась рукопись Карамзина. Он надеялся, что покаленная придирчивой рукой грусливого цензора записка «О древней и новой России» все-таки появится в свет; среди его бумаг сохранилось следующее уведомление: «Во втором № „Современника“ (на 1836 год) уже упомянуто было о неизданном сочинении покойного Карамзина. Мы считаем себя счастливыми, имея возможность представить нашим читателям хотя отрывок из драгоценной рукописи. Они услышат если не полную речь великого нашего соотечест-

венника, то по крайней мере звуки его умолкнувшего голоса» (XII, 185).

Пушкин поторопился написать уведомление. Комитет вторично отправил рукопись Карамзина в Главное управление цензуры. 28 октября министр народного просвещения С. С. Уваров направил в Санктпетербургский цензурный комитет запрещение печатать записку покойного историографа. Лишь после смерти Пушкина Жуковскому удалось добиться иного решения — в пятом томе «Современника» рукопись Карамзина, усеченная цензурой, наконец появилась: «О древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношениях (До смерти Екатерины II)», вместе с уведомлением Пушкина.

После смерти Карамзина Пушкин не упускал ни одного удобного случая, чтобы напомнить о его гражданском мужестве; подвигом честного человека называл он «Историю государства Российского». Иконописному образу верноподданного монархиста, который возникал под пером Греча и других официозных литераторов, Пушкин противопоставлял истинный лик смелого предстателя за отечественное просвещение, независимого мыслителя и смелого человека.³⁸ Но желание во что бы то ни стало напечатать записку Карамзина «О древней и новой России» появилось у Пушкина не только по моральным мотивам, не только из естественной потребности воздать должное его великой тени. Голос Карамзина, его страстные нападки на Петра I, его размышления об исторических судьбах родины словно врываются в ожесточенные споры писателей пушкинского круга; как мы помним, проблема «Россия и Запад» постоянно занимала их ум — «замогильная» записка Карамзина была как нельзя более кстати.

Приближался 25-летний юбилей Отечественной войны 1812 года, когда спор России и Запада решался не в кабинетах ученых и писателей, а на полях сражений. Теперь эти легендарные годы становились Историей, достоянием мемуаристов — цивильных и военных. Во втором номере «Современника» Пушкин поместил пространные выдержки из «Записок» Н. А. Дуровой, две статьи Вяземского о Наполеоне и туда же хотел «тиснуть» мемуар-

ную статью Дениса Давыдова. «Статью о Дрездене» не могу тебе прислать прежде, нежели ее не напечатают, ибо она есть цензурный документ, — писал Пушкин Денису Давыдову в последних числах мая 1836 года. — Успеешь наглядеться на ее благородные раны. Покамест благодарю за позволение — напечатать ее и в настоящем ее виде. — А жаль, что не тиснули мы ее во 2-м № Современника», который у меня весь полон Наполеоном? куда бы кстати тут же было заколоть у подножия Вандомской колоны генерала Винценгероде как жертву примирительную! — я было и рукава засучил! Вырвался, проклятый; бог с ним, черт его поberi» (XVI, 121—122).

Дочь кавалерийского офицера Надежда Андреевна Дурова (1783—1866) с 1806 года сражалась против французов. Александр I, узнав о том, что под именем улана Соколова воевала женщина, вызвал ее в столицу, велел называться Александровым и назначил корнетом в гусарский полк. При Бородине Дурова была контужена, а затем служила ординарцем у Кутузова. В начале 1836 года Дурова переслала свои записки Пушкину, который охотно согласился их печатать; в предисловии к ним издатель «Современника» писал: «С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным» (XII, 64).

Правдивые картины ожесточенных сражений с наполеоновской армией, трудный ратный подвиг отступления, непоколебимая вера в победу России, такт, с которым автор сочетает автобиографический элемент повествования с эпической панорамой Отечественной войны, — все эти достоинства записок женщины-улана привлекли к ним сочувственное внимание Пушкина. И не только внимание. Опытный редакторский карандаш издателя «Современника» изъясил из журнальной публикации те страницы, на которых фигура русской «амазонки» слишком заслонила собою центральный сюжет записок — показ всенародной войны с иностранным нашествием.

Об умении военных владеть пером пишет в этом же номере «Современника» и Вяземский в статье «Наполеон и Юлий Цезарь». «Наполеон-писатель необходимый комментатор Наполеона-полководца, политика и прави-

³⁸ Подробнее об этом см.: Вацуро В. Подвиг честного человека. — «Прометей», № 5, 1968, с. 8—51.

теля»,³⁹ — замечает Вяземский. Он с восхищением говорит о целеустремленности, энергии писательского таланта Наполеона, об эпической цельности его натуры, о моральной стойкости его в годы заточения на острове святой Елены. «Многие удивлялись, как Наполеон мог *пережить* славу и державу свою, как мог он не избавиться собственным жертвоприношением от унижений и продолжительного мученичества падения своего?.. Удивление легкомысленное и суетное! Наполеон должен был иметь такую веру в судьбу свою, столь же чудесную и беспримерную, что он не мог отчаиваться до последней минуты: должен был ждать и не сходить с лица земли, пока земля носила его. Иначе Наполеон не был бы Наполеоном».⁴⁰

Тема душевной стойкости, моральной неустранимости была кровно близка писателям пушкинского круга в 1830-е годы, когда их собственная судьба складывалась далеко не так, как им того хотелось. В статьях Пушкина этих лет, в его рецензии на книгу Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека», в его высказываниях о Радищеве и Карамзине настойчиво звучит эта тема.

Судьба крупного исторического деятеля обычно вызывает у потомства разноречивые оценки — сколько истолкователей, столько и суждений. Не избежал этой участи и Наполеон. Издатель оппозиционного «Московского телеграфа» хвалил его за разрушение остатков феодального строя в завоеванных им странах Европы, а издатель полуофициозной «Северной пчелы» Фаддей Булгарин — за укрощение французской революции. Каждый из них находил в деятельности Наполеона то, что искал...

Исторические приговоры зависят и от тех, кто их выносит, и от того, когда их пишут. Подчас апофеоз одного исторического деятеля является косвенным осуждением другого. Режим Луи-Филиппа не вызывал симпатий ни Пушкина, ни Вяземского. Порицать открыто его правление не дозволялось. Цензура Министерства иностранных дел следила за должным соблюдением «декорума». Другое дело — история. Хвалить Наполеона никому не возбранялось. Пусть при этом по контрасту восприятия становилась еще незначительнее фигура современного властителя Франции, короля «с зонтиком под мышкой», —

³⁹ «Современник», 1836, т. 2, с. 247—248.

⁴⁰ Там же, с. 252—253.

скрытые исторические параллели не подвергались цензурному запрету. Статья Вяземского «Наполеон и Юлий Цезарь» прошла цензурное «чистилище» без всяких помех.

О великом корсиканце говорилось и в статье Вяземского «Наполеон. Поэма Э. Кине». Конечно, жизнь Наполеона достойна эпопеи, вновь декларировал Вяземский. Но писатель не сумел овладеть предметом — герой поэмы намного превышает автора. Поэма Эдгара Кине побуждает Вяземского изложить свои историко-литературные взгляды, показать, как истощилась «литература Людовика XIV и даже литература мятежного XVIII века», как на смену строгому регламенту классицизма пришло освобождение от неприкосновенности литературных форм, как необузданный романтический гений завладел словесностью: «Странны свойства сей новой литературы: то откровенна она до наготы и до наглости, то самую наготу прикрывает бесполезными украшениями! Она *тагуирует* себя, как будто совестясь показаться в состоянии непорочности и пренебрегая между тем благопристойно завесить свое грешное тело. Это дикая островитянка, которая является к вам голая, но с серьгами в ноздрях».⁴¹

Чопорная, в накрахмаленной мантии муза классицизма и пренебрегающая всеми приличиями романтическая «дикая островитянка», при всех разительных отличиях друг от друга, имеют общую, им обеим присущую черту, — им обеим недостает простоты: «Хочет ли новая литература попасть на простоту? Она не запросто проста, а с усилием. Простота не легко дается: это святыня, которая требует особого призвания и долгого очищения. Простота должна быть как благоденствие, так что левая рука не ведает о милостыне, подаваемой правой. Будьте просты, не думая о простоте, не зная, что вы просты: тогда узнают и убедятся в том другие. Истина и простота — вот две главные стихии поэзии; в них талант отыщет силу и возвышенность».⁴²

Эти историко-литературные соображения Вяземского весьма схожи с высказываниями Пушкина и ориентированы в первую очередь на его творчество. Эстетическое кредо статьи Вяземского «Наполеон. Поэма Э. Кине», равно как и публицистический пафос статьи В. Ф. Одоев-

⁴¹ Там же, с. 275.

⁴² Там же.

ского «О вражде к просвещению...», наглядно показывают нам наличие существенной социальной общности основных сотрудников «Современника», которая проявлялась в значительной близости их литературно-общественных мнений.

Во втором номере «Современника» также напечатаны этнографический очерк А. И. Емичева «Мифология вотяков и черемис»⁴³ и обзор В. И. Золотницкого (чиновника казенной палаты Кавказской области) «Статистическое описание Нахичеванской провинции, составленное В. Г. и напечатанное по высочайшему соизволению». Очерк А. И. Емичева доставил В. Ф. Одоевский, обзор В. И. Золотницкого попал в «Современник», по всей вероятности, от Г. П. Небольсина, автора трудов по статистике внешней торговли России, редактора «Коммерческой газеты».

18 июня 1836 года Пушкин распорядился печатать для второго тома продолжение «Хроники русского» А. И. Тургенева; как мы знаем, А. И. Тургенев как раз в это время потребовал приостановить опубликование его заграничных корреспонденций. Пушкин вынужден был изъять из тома напечатанные уже страницы и поместить редакционное объяснение, которое удовлетворило А. И. Тургенева.

В другой редакционной заметке Пушкин предупреждал читателей о том, что в следующем номере «Современника» будут помещены полемические статьи: «Статья, присланная нам из Твери с подписью А. Б., не могла быть напечатана в сей книжке по недостатку времени.

Мы получили также статью г. Косичкина. Но, к сожалению, и эта статья доставлена поздно, и мы, боясь замедлить выход этой книжки, отлагаем ее до следующей» (XII, 183).

Среди поэтических произведений второго тома напечатаны стихотворение Кольцова «Урожай», семь глав из «Драматической сказки об Иване царевиче, жар-птице и о сером волке» Н. М. Языкова, отрывки из четвертого и пятого действия «Битвы при Тивериаде» А. Н. Муравьева и сцена из трагедии Е. Ф. Розена «Дочь Иоанна III».

«Второй № Современника очень хорош, и ты скажешь мне за него спасибо, — писал Пушкин П. В. Нащокину

⁴³ Подробнее об этом см.: Петряев Е. Д. Вятский литератор А. И. Емичев — сотрудник пушкинского «Современника». — Временник Пушкинской комиссии. 1965. Л., 1968, с. 56—61.

27 мая 1836 года. — Я сам начинаю его любить и, вероятно, займусь им деятельно» (XVI, 121).

Пушкин сдержал свое обещание; в третьем номере напечатаны: повесть Гоголя «Нос», стихотворения Тютчева, Вяземского, Давыдова, Стромиллова, «О партизанской войне» Дениса Давыдова, научно-популярная статья П. Б. Козловского «О надежде» (о теории вероятности), а также множество произведений самого издателя «Современника»: «Родословная моего героя», «Полководец», «Сапожник», «Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)», «Анекдоты», статьи и рецензии — «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...», «Об Истории Пугачевского бунта», «Вольтер» «Фракийские элегии, стихотворения Виктора Теплякова», «Джон Теннер», «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико», «Словарь о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местночтимых», «Новый роман», «Письмо к издателю», словом, половина третьего тома заполнена сочинениями самого Пушкина.

Пушкин и в самом деле деятельно занялся «Современником». Но даже его собственный щедрый вклад не мог компенсировать отсутствие широкого круга сотрудников. Печатный орган — отголосок коллективного мнения, плод общих усилий, без которых он не может полнокровно существовать. Крайне ограниченный круг авторов — «ахиллесова пята» «Современника». В скупом перечне имен этого издания проявились и продолжающаяся социальная изоляция писателей пушкинского круга, и недостаток журнальной изворотливости у его инициатора. Если не считать постоянных посетителей суббот Жюковского — Гоголя, Вяземского, Одоевского, Розена, участие которых в «Современнике» было само собой разумеющимся, то можно констатировать, что большая часть материалов попала к Пушкину либо по собственному почину некоторых писателей, либо благодаря попечениям Вяземского и Одоевского, и лишь в незначительной степени вследствие забот самого издателя. Возможно, что привлечение к сотрудничеству Белинского создало бы определенный перелом, помогло бы Пушкину изжить свою журнальную «скованность», сделало бы возможным участие в его печатном органе литераторов разночинной ориентации, способствовало бы литературному альянсу передо-

вых дворянских и демократических писателей, словом, «Современник» мог бы стать таким популярным изданием, каким стали несколько лет спустя обновленные «Отечественные записки». Во всяком случае стремление привлечь Белинского к участию в «Современнике» крайне симптоматично — оно свидетельствует о желании Пушкина противодействовать социальной изоляции.

Трудно себе представить, как именно сложились бы взаимоотношения Пушкина и Белинского; вряд ли они были бы идиллическими, скорее всего возникли бы идейные споры и издательские трения. Обильный материал для реконструкции идейной позиции Пушкина и Белинского дают нам произведения издателя «Современника», помещенные в третьем томе, а также полемика с ними Белинского в последующие годы.

Ю. Г. Оксман показал, что в споре М. Е. Лобанова и Пушкина о современной литературе и литературной критике незримо «присутствовал» Белинский: «Персональная направленность против Белинского основных положений „мнения“ М. Е. Лобанова в специальной литературе отмечалась не раз, но активная поддержка, оказанная автору „Литературных мечтаний“ на страницах „Современника“ самим Пушкиным, прошла мимо внимания исследователей. В разборе „мнения“ М. Е. Лобанова их, видимо, смутило отсутствие как имени Белинского, так и точных цитат из его статей. Они не учли того, что Пушкин не имел права на расшифровку имени анонимного объекта нападков академического референта не только потому, что сам Лобанов прямо нигде его не называл, но и оттого, что эта расшифровка политически была бы для Белинского очень опасна. По условиям места и времени имя молодого критика осталось завуалированным. Спор приходилось вести без точных цитат и прямых сопоставлений имен. В полемику Лобанова с Белинским о роли „предания“ и об отношении к литературным авторитетам, о путях современной поэзии и о задачах академической критики Пушкин вторгался не просто как поэт и литератор, соратник или даже единомышленник Белинского, а как член Российской академии, по самому своему положению обязанный быть блюстителем традиций высокой литературы. Этот официальный, сугубо академический тон predetermined несколько архаический дидактизм статьи, ее ораторскую интонацию, имитирую-

щую (а может быть, и пародирующую) самого Лобанова. Именно этот тон, характерный в той или иной степени не только для статьи о Лобанове, но и для всех передовиц Пушкина в „Современнике“, должен внимательно учитываться при анализе всех вольных и невольных противоречий печатных и предназначавшихся для печати суждений Пушкина этой поры о Радищеве, о декабристах, о Вольтере и французской революции, о московских шеллингианцах, о Полевом и, наконец, о Белинском».⁴⁴

Конечно, цензурные условия вынуждали порой Пушкина смягчать свои формулировки, выражаться намеками и обиняками. Но высказывать мнения, противоположные собственным воззрениям, Пушкин не стал бы ни в коем случае.

Пушкин отверг обвинение М. Е. Лобанова о наличии в России «множества безнравственных книг» и «дерзких, злонамеренных писателей». Гораздо сдержаннее ответ Пушкина по поводу литературной критики: «Конечно, критика находится у нас еще в младенческом состоянии. Она редко сохраняет важность и приличие, ей свойственные; может быть, ее решения часто внушены расчетами, а не убеждением. Неуважение к именам, освященным славою (первый признак невежества и слабomyслия), к несчастиям, почитается у нас не только дозволенным, но еще и похвальным удалством» (XII, 71). Конечно, Пушкин имел в виду здесь общее состояние литературной критики, а отнюдь не одного Белинского, которого он не стал бы упрекать в расчетливости. Это был выпад по адресу литераторов «торгового» направления. Но слова о критиках, которые не уважают имен, освященных славою, подразумевали и Белинского. Вспомним, что в том же номере «Современника» Пушкин в «Письме к издателю» писал: «Жалею, что вы, говоря о „Телескопе“, не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединил он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного» (XII, 97).

«Письмо к издателю» было подписано псевдонимом «А. Б.». Возможно, что Белинский и не знал, что его

⁴⁴ ЛН, т. 56. М., 1950, с. 252.

автором был сам Пушкин. Но он был уверен, что эта оценка соответствует точке зрения издателя «Современника». В обзоре «Русская литература в 1840 году» (1841) Белинский писал: «Пушкин не раз изъяснял свое негодование на дух неуважения к историческому преданию и заслуженным авторитетам отечественной литературы, — неуважения, которым обозначилось новейшее критическое движение: мы понимаем это оскорбление великого поэта, но не разделяем его. Этот дух неуважения не случайность, и причина его заключается не в буйстве, не в невежестве, но в разумной необходимости. Действительна одна истина, и только в одной истине благо и счастье; но истина сурова, неумолима и жестока до тех пор, пока человек только спустится к ней и еще не овладел ею. Первый шаг к ней, как мы уже сказали, — сомнение и отрицание».⁴⁵

Почтительно, но в то же время безоговорочно отвергает Белинский упреки Пушкина. При всем своем уважении и любви к Пушкину Белинский тем не менее не мог выразить согласие с его возражениями по собственному адресу. Это была не мелочная обида (как мы знаем, Белинский умел признавать свои ошибки), а принципиальное расхождение во взглядах. У истоков этого спора не случайные журнальные нападки, не взрыв оскорбленного самолюбия, а разность социальной позиции. По своим обоюдным личным симпатиям Пушкин и Белинский стремились друг к другу, но преодолеть исходные общественные различия было невозможно.

В третьем номере «Современника» Пушкин напечатал также «Родословную моего героя», резкую поэтическую отповедь и новоявленной аристократии, и «торговой» журналистике, возглавляемой Фаддеем Булгариним. Но вольно или невольно страстная защита старинного дворянства (пусть просвещенного, пусть независимого, пусть вольнолюбивого!) задевала всех представителей демократического образа мыслей. И когда Пушкин жалел,

Что геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел,

⁴⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, с. 412—413.

то Белинский не мог оставить без ответа эту общественную декларацию. В том же обзоре «Русской литературы в 1840 году» критик писал: «Конечно, отвратительно видеть осла, который, помня когти и страшное рыканье льва, некогда приводившие его в трепет, лягает могилу этого „геральдического льва“ своим „демократическим копытом“ (по выражению самого Пушкина), — однако ж должно радоваться даже самым ложным, но только независимым мыслям о великом поэте: они показывают потребность разумного сознания, которое всегда начинается отрицанием непосредственного знания, т. е. знания по привычке или по преданию. Вот точка, с которой должно смотреть на так называемый дух неуважения в современной литературе. Этот дух неуважения — предвестник, светлая заря строгого и истинного духа уважения <...> который будет состоять в верной критической оценке каждого писателя по его заслуге и достоинству, — оценке, произнесенной на основании науки об изящном и перешедшей в общественное сознание».⁴⁶

Белинский-разночинец понял глубокую, внутреннюю связь между идейным потенциалом «Родословной моего героя» и осуждением духа неуважения к преданию в литературной критике — и в равной степени отклонил социальные притязания Пушкина. Несколько лет спустя, в 1846 году, в одиннадцатой статье о Пушкине Белинский счел нужным дать бой «Родословной моего героя», которая, по словам критика, «написана стихами до того прекрасными, что нет никакой возможности противиться их обаянию, несмотря на содержание». А содержание этой социальной инвективы было для Белинского неприемлемым. Он утверждал, что «Родословная моего героя» — «очень острая сатира, написанная поэтом на самого себя». Поэтическому апофеозу старинных дворянских родов Белинский противопоставил доводы трезвого рассудка, суждения демократа, видевшего изнанку всякого возвеличения рода: «Тамерлан был большой аристократ, — по

⁴⁶ Там же, с. 413—414. — О «Родословной моего героя», о других стихотворениях Пушкина, напечатанных в «Современнике» и предназначенных для помещения в дальнейших его номерах см.: Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20—30-х годов. — Пушкин. Исследования и материалы, т. II. М.—Л., 1958, с. 7—48; то же в кн.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 213—269.

крайней мере при его жизни в этом никто не смел усомниться под опасением быть посажену на кол; но прежде, нежели сделаться великим ханом, он был кузнецом, заплачившим за покражу овцы увечьем ноги. Так и всякий род начат был одним человеком незнатного происхождения, у которого в родне был не один сапожник или портной».⁴⁷

Чем сильнее любил и уважал Белинский Пушкина, чем отчетливее видел он исполинский масштаб его творческого гения, тем неистовее обрушивался он на социальные предрассудки великого поэта: «Как потомка старинной фамилии, Пушкина знал бы только его круг знакомых, а не Россия, для которой в этом обстоятельстве не было ничего интересного; но как поэта Пушкина узнала вся Россия и теперь гордится им, как сыном, делающим честь своей матери... Кому нужно знать, что бедный дворянин, существующий своими литературными трудами, богат длинным рядом предков, мало известных в истории? Гораздо интереснее было знать, что напишет нового этот гениальный поэт...»⁴⁸

Знать это нужно было одному бедному дворянину — Пушкину. В этой «замогильной» полемике вскрывается несовместимость социальной позиции шестисотлетнего дворянина Пушкина и разночинца Белинского.

Но жизнь сложнее любой социальной схемы, точной и безупречной. Вопреки всем различиям Пушкин и Белинский чувствовали влечение друг к другу. Гибель Пушкина оборвала намечавшееся сотрудничество между ними на журнальном поприще, сотрудничество, которое неизбежно было бы трудным и могло даже привести к трагическому разрыву: ведь и Пушкин, и Белинский умели самозабвенно отстаивать свои выношенные годами убеждения, свои мнения, свои взгляды.⁴⁹

⁴⁷ Там же, т. VII, с. 538.

⁴⁸ Там же, т. VII, с. 540—541. — «Замогильный» спор Белинского с Пушкиным имел, конечно, тесную связь с журнальной полемикой 1840-х годов, но этот аспект проблемы выходит за рамки настоящей работы.

⁴⁹ Подробнее об отношениях Пушкина и Белинского см.: Сергиевский И. Избранные работы. Статьи о русской литературе. М., 1961, с. 215—330; Гиллельсон М. Из истории итальянско-русских литературных связей. — РЛ, 1966, № 2, с. 246—248; Кокка Г. М. «Примечания о памятнике...» (Из журнальной полемики 1836 года). — РЛ, 1969, № 2, с. 129—144.

Представитель передового дворянского просветительства, Пушкин распознал антигуманистическую сущность буржуазного общества; успехи промышленного развития в странах Западной Европы и Северо-Американских штатах не затмевали в его глазах коренных общественных пороков власти, основанной на господстве денежных отношений. Поэтому энергичные выпады Пушкина против «демократического копыта», имевшие сословный полемический подтекст, не подлежат однолинейной интерпретации. Кстати сказать, и сословное «высокомерие» Пушкина объясняется не стремлением к возвеличению своего класса, а значительно сложнее; писатель противопоставлял старинные дворянские фамилии, являвшиеся, по его убеждению, носителями принципов честности и независимости, новоявленной аристократии, пресмыкавшейся перед верховной властью; таким образом, это «высокомерие» оборачивалось защитой передовых, просвещенных дворян, потомков старинных родов. Чтобы распознать эти социальные нюансы, потребовались десятилетия, и естественно, что Белинский не мог понять всей сложности пушкинской позиции.

Если защита Пушкиным шестисотлетней родословной вызывала бурный протест Белинского, то критика буржуазных отношений издателем «Современника», вероятно, встречала понимание и сочувствие его социального антагониста. Ведь по своей пронизательности и обличительной силе антибуржуазные высказывания Пушкина, пожалуй, не уступают суждениям Бальзака о французских богачах-высочках, суждениям, которые, как известно, высоко ценил Фридрих Энгельс.

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих, — писал Пушкин в статье «Джон Теннер». — Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ее географическим положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвра-

тительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное немолчим эгоизмом и страстию к довольству (*comfort*); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами» (XII, 104).

Один из глубоких умов, которые занимались в те годы изучением американских общественных порядков, был Шарль Алексис Токвиль (1805—1859). Юрист по образованию, он был послан в 1831 году в Северо-Американские Соединенные Штаты для исследования местной пенитенциарной (тюремной) системы. Любознательный молодой ученый не ограничился этой узкой темой; он внимательно изучил американские нравы и написал труд «Демократия в Америке»; Пушкин читал это сочинение (оно сохранилось в его библиотеке) и называл Токвиля автором славной книги «*De la démocratie en Amérique*».

Аристократ по происхождению, Токвиль признал неизбежность торжества буржуазной демократии в современном ему обществе. Однако этот вывод не вызывал у него восторга. Он презирал буржуазию, видел корыстолюбие и безудержный эгоизм среднего сословия, его мелочное тщеславие. Критика американского образа жизни в сочинении Токвиля нашла полное понимание и сочувствие со стороны Пушкина. Чтение труда Токвиля усилило ненависть издателя «Современника» к царству «золотого тельца», к отвратительному цинизму буржуазной демократии.

Поэзия в третьем номере «Современника» представлена «Родословной моего героя», «Полководцем» и эпиграммой «Сапожник» Пушкина, циклом стихотворений Тютчева (окончание его напечатано в следующем номере «Современника»), эпиграммами Дениса Давыдова, стихотворением С. Стромиллова «3 июля 1836 года», посвященным празднику русского морского флота, лирическими стихотворениями Вяземского и выдержками из «Фракий-

ских элегий» В. Теплякова, приведенными в рецензии Пушкина.

Стихотворения Тютчева попали в «Современник» через Вяземского и Жуковского. И. С. Гагарин писал 12 (24) июня 1836 года в Мюнхен Тютчеву: «...намерен я передать Вяземскому некоторые стихотворения, старательно разобранные и переписанные мною. Через несколько дней захожу к нему невзначай около полуночи и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнуты. Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание — Жуковского в особенности — все более убеждало меня в том, что он верно понял все оттенки и всю прелесть этой простой и глубокой мысли. Тут же решено было, что пять или шесть стихотворений будут напечатаны в одной из книжек пушкинского журнала, то есть появятся через три или четыре месяца, а затем будет приложена забота к выпуску их в свет отдельным небольшим томом. Через день ознакомился с ними и Пушкин. Я его видел после того, и, говоря об них со мною, он дал им справедливую и глубоко прочувственную оценку».⁵⁰

Заметим, что Жуковский и Вяземский дают обещание И. С. Гагарину поместить стихотворения Тютчева в «Современник» еще до ознакомления с ними Пушкина. Это позволяет нам яснее представить себе реальную обстановку в редакции «Современника». Единоличным издателем и редактором числился Пушкин; узаконенной редакционной коллегии не существовало. Но эта чисто внешняя сторона вопроса не соответствовала фактическому положению вещей. Сейчас мы лишены возможности достоверно выявить долю участия Вяземского, Жуковского и Одоевского в редакционных делах «Современника», но несомненно, что их пожелания, советы и порой предварительные решения играли существенную роль; по сути дела, существовало негласное редакционное ядро, деятельно помогавшее Пушкину.

Как мы знаем, Пушкин сошелся с Жуковским и Вяземским в сочувственной оценке поэтического таланта Тютчева. Более того. Если Жуковский и Вяземский со-

⁵⁰ Цит. по кн.: Пигарев К. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 82—83 (подлинник по-французски).

бирались напечатать пять или шесть стихотворений, то Пушкин счел нужным опубликовать в третьем номере «Современника» шестнадцать поэтических миниатюр Тютчева. Стихотворение «Два демона ему служили», посвященное Наполеону, вызвало цензурный запрет; по всей вероятности, цензор счел предосудительным символику стихотворения: «Кому служили „два демона“? Позволительна ли такая служба? Не противоречит ли она основам христианской религии и нравственности?»⁵¹ Покалеченным оказалось пантеистическое стихотворение Тютчева «Не то, что мните вы, природа...», разрешенное к печати без двух средних строф, которые навсегда оказались утраченными.

Глубоко индивидуализированная, с явным налетом архаической стихии, впитавшая в себя пантеистическое восприятие жизни, окрашенная шеллингианскими настроениями, поэзия Тютчева оказалась желанной гостьей в пушкинском кругу писателей. И хотя Вяземский в ответ на религиозные рассуждения Александра Тургенева иронически замечал, что он не даст шиллинга за Шеллинга, тем не менее время неотвратимо вызывало иное, более спокойное и менее импульсивное отношение к вечным проблемам бытия. Религиозная нетерпимость порождала действительские и атеистические настроения, а последние, в свою очередь, вновь наталкивали пытлившую мысль на восприятие нравственных и этических основ религиозного сознания, которое в условиях антагонистического общества часто служило моральным катехизисом независимой личности, апофеозом ее бунтарских устремлений, ее внутреннего ниспровержения несправедливостей социального строя, основанного на угнетении одних общественных классов другими.

Во второй половине 1820-х годов Пушкин, как мы ранее отмечали, был чужд философских устремлений редакции «Московского вестника». За прошедшие десять лет мировосприятие Пушкина претерпело значительную эволюцию. Влияние французских энциклопедистов, с их скептической оценкой религиозных верований и всяких

⁵¹ Вацуро В. «Два демона». — В кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 267. — О цензурных мытарствах тютчевского цикла см также Рыскин Е. Из истории «Современника». Стихи Тютчева в третьей книге «Современника». — РЛ, 1961, № 2, с. 196—200.

метафизических прений, постепенно шло на убыль. Все более и более возникало уважение к немецкой философской традиции. «Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас, — писал Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...». — Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно» (XII, 72).

Благожелательное отношение Пушкина к немецкой философии, вероятно, отразилось на восприятии им поэзии Тютчева. Иное осознание бытия, отнюдь не «равнодушная природа» возникали в строках молодого русского дипломата, присланных из Мюнхена. Шеллингианская картина мира, которая ранее ощущалась в тяжеловесном косноязычии Шевырева, теперь обрела классическую ясность и поэтическую точность в пейзажной лирике Тютчева.

Органическое вживание в мир классических образов свойственно было и историко-философским стихотворениям Тютчева.

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призывали всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Античная пластичность формы, цельность поэтической картины, слияние психологической характеристики Цицерона с ярким зримым образом, — все это покоряет и доныне любителей поэзии. А для Пушкина эта историко-философская фреска была близка еще и тем, что оптимистическая, всепобеждающая тональность, торжествующая над трагическими аккордами жизни, звучала и в его собственных стихах.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обрести и ведать мог.

И пусть герой «Пира во время Чумы» сам находится в смертельной опасности, а тютчевский Цицерон лишь «высоких зрелищ зритель», лишь очарованный наблюдатель исторического катаклизма — и тот и другой посетили «сей мир в его минуты роковые», и тот и другой с наслаждением ощущают грань, отделяющую бытие от небытия, и тот и другой отмечены печатью бессмертия.

Гибелью грозит не только смерть, но и жизнь; в стремительной смене поколений — вечная угроза тем, чьи чувства и помыслы обращены только в минувшее.

Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век!
Как ваших жалоб, ваших пеней,
Неправый праведен упрек!
Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

Нет двух одинаковых поколений, и в этом залог неустойчивости движения, постоянного изменения нравственного бытия мира. Вечный конфликт отцов и детей, вечное борение старого и отжившего с нарождающимся и новым — такова тема стихотворения Тютчева «Как птичка раннею зарей»; в заключительной строфе его скондесирована неизбежная горечь тех, кого поэт назвал «обломками старых поколений». Между тем такова судьба каждого поколения; этот печальный жребий уготован и тем, кто сегодня еще молод. Поэтому строки Тютчева вечны.

Но, помимо этой вселенской общности, они выражают и чувства одного-единственного поколения. Того поколения, к которому принадлежал их автор, поколения, бурная судьба которого так безжалостно переломилась на Сенатской площади, поколения, которое так стремительно созрело и так внезапно стало взрослее своих лет. Это — поколение Пушкина и его литературных друзей. Воспитанные в начале «дней Александровых», все они стали

пасынками в годы царствования Николая I. Их историческую и социальную ущербность и выразил Тютчев, младший современник Жуковского, Вяземского, Пушкина.⁵² Младший оказался прозорливее старших. Лишь четыре года спустя Вяземский написал реквием своему поколению — «Смерть жатву жизни косит, косит»:

Сыны другого поколения,
Мы в новом — прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим — в них сочувствий нет.

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.

Так, мы развалинам подобны,
И на распутии живых,
Стоим, как памятник надгробный
Среди обителей людских.

Чем круче исторические переломы, чем обреченнее чувствуют себя идеологи того или иного класса, осужденного уступить место новым социальным силам, тем безнадежнее обзеревают они быстро меняющийся мир, тем трагичнее звучат их погребальные песни, их запоздалый апофеоз уходящей культуры.

Стихотворения Тютчева, напечатанные в «Современнике», прошли незамеченными и читателями, и критикой. Нам кажется почти невероятным, что лирика Бенедиктова имела в те годы несравненно больший успех, нежели творчество Тютчева, одного из наиболее совершенных мастеров русского поэтического слова. Признание пришло к Тютчеву позднее; в тридцатые же и сороковые годы талант его ценили лишь в узком кругу любителей изящного. Тютчев разделил судьбу непопулярности писателей пушкинского круга, к которому он органически примкнул по своим социальным симпатиям и литературным пристрастиям.

Его поэтическая судьба сложилась необычно. Жизнь в Мюнхене помешала Тютчеву своевременно сблизиться с Пушкиным и его литературными соратниками. Он вер-

⁵² Подробнее о социальной позиции Тютчева см.: Благой Д. Три века. Из истории русской поэзии XVIII, XIX и XX вв. М., 1933, с. 180—268 (главы «Творчество Тютчева», «Тютчев и Вяземский»).

нужся в Россию лишь в 1844 году, когда Пушкин уже покоем в ограде Святогорского монастыря, а Жуковский затворился в Германии; как Цицерон «застигнут ночью Рима был», так и Тютчев стал зрителем заката писателей пушкинского круга. И не только зрителем, но и одним из главных действующих лиц этой исторической трагедии.

«Фракийские элегии» Теплякова написаны в ином стилистическом ключе, нежели тютчевский цикл.

У Тютчева — сдержанная, немногословная поэтическая речь, отсутствие риторики и вычурных словесных фигур, предельная экономия художественных средств.

У Теплякова — бурный словесный поток, в котором мелькают мысли, образы, метафоры; эмоциональная экспрессия захлестывает автора; порой возникают неудачные сравнения и неточные выражения, отмеченные, кстати сказать, в рецензии Пушкина. Но отдельные недочеты не затмевают «гармонии, лирического движения, истины чувств». Наибольшей похвалы заслуживают, по мнению Пушкина, элегия «Гебеджинские развалины».

Века веков лишь повторенье!
Сперва — свободы обольщенье,
Гремушки славы наконец;
За славой — роскоши потоки,
Богатства с золотым ярмом,
Потом — изящные пороки,
Глухое варварство потом!

«Это прекрасно! Энергия последних стихов удивительна!» — заключает Пушкин (XII, 90).

Эпизод «Гебеджинских развалин», который так высоко оценил Пушкин, выделяется и поэтическим мастерством, и стремительным развитием мысли: в нескольких строках четырехстопного ямба распрямляется тугая историческая пружина, — неумолимая смена эпох — от греческого полиса до римской империи, до «изящных пороков», предвестников социальных катастроф, наследником которых грядет «глухое варварство» Средневековья. И тут поэтическое прозрение Теплякова словно пересекается с размышлениями Тютчева, с трагическим жребием Цицерона, который «среди бурь гражданских и тревоги» узрел с Капитолийской высоты закат римской империи.

Виктор Григорьевич Тепляков, сын тверского помещика, родился 15 августа 1804 года. Воспитывался будущий поэт в Московском университетском пансионе, где

и начал писать стихи. В 1820 году Тепляков надевает военный мундир; в полку он свел знакомство с П. П. Кавериным, приятелем Пушкина, человеком вольного образа мыслей. Дружба с П. П. Кавериным способствовала тому, что Тепляков стал проявлять оппозиционное равнодушие к монархической власти. В марте 1825 года он вышел в отставку. Вскоре за уклонение от присяги Николаю I, Тепляков был арестован, подвергнут церковному покаянию и выслан на жительство в Херсон. В 1829 году ему было поручено вести археологические разыскания на юге России. К этому времени и относится написание им «Фракийских элегий». Лирический герой этого цикла — «изгой, отвергнутый родиной, лишенный друзей и домашнего очага; его странничество — тяжелый и неизбежный крест; скептик и мизантроп, он осознает свой удел как наименьшее зло из возможных. <...> Тепляков неоднократно возвращается к теме исторически бессмысленного круговорота общества, где каждую цивилизацию ждет неизбежная гибель; к теме мировых катаклизмов, уничтожающих культуры».⁵³

Заочное сближение Теплякова с пушкинским кругом писателей происходит в 1830 году, когда в «Северных цветах» и «Литературной газете» появляются несколько его путевых писем и стихотворений. К 1835—1836 годам, ко времени жизни в Петербурге, относится его личное знакомство с Пушкиным; тогда же он общается с Жуковским, Плетневым, В. Ф. Одоевским; последний, давний товарищ Теплякова по Московскому университетскому пансиону, принимает деятельное участие в подготовке второго тома его стихотворений, который вышел в свет весной 1836 года. Скорее всего, именно Одоевский ознакомил Пушкина с этим изданием (возможно еще в корректурных листах) и получил согласие автора на обширные цитаты из «Фракийских элегий», приведенных Пушкиным в его рецензии. Если Пушкин хвалил поэзию Теплякова, то естественно, что Сенковский порицал ее — иронический отклик в «Библиотеке для чтения» на сборник стихотворений фракийского странника ясно показывает, что журнальные враги писателей пушкинского круга были и недругами Теплякова.

⁵³ Поэты 1820—1830-х годов, т. 1. Л., 1972, с. 595—596 (из библиографической справки о Теплякове, написанной В. Э. Вацуро).

Четвертый номер «Современника» открывается мемуарной статьей Д. Давыдова «Занятие Дрездена». Как уже упоминалось, Пушкин готовил ее во второй номер, но цензурные мытарства воспрепятствовали его намерению.

Давыдов уязвил самолюбие и вызвал гнев генерала Винценгероде тем, что он воевал не по рутине, не по «правилам» — стремительно продвигаясь вперед, Давыдов во главе небольшого отряда занял Дрезден; а Винценгероде сам хотел войти победителем в столицу Саксонии. Давыдов был разруган, обвинен в нарушении приказа и лишен командования. Только заступничество Кутузова спасло Давыдова от облыжных обвинений. Теперь, четверть века спустя, Денис Давыдов пытался восстановить историческую истину. Но двадцать пять лет оказалось сроком недостаточным — военная цензура изъяла все филиппики, нацеленные в амбициозного генерала.⁵⁴

Из прозаических произведений в четвертом номере «Современника» напечатаны «Капитанская дочка» (роман Пушкина занял более половины всего тома — 173 страницы из 308), продолжение заграничных корреспонденций А. И. Тургенева, «Вечер в Царском Селе» А. Н. Муравьева,⁵⁵ «Прогулка за Балканом. (Отрывок из невероятного рассказа чичероне дель К... О)», авторство которого до последнего времени приписывалось В. П. Титову, одному из «архивных юношей», литератору, сотруднику «Московского Вестника» и других журналов. Совсем недавно В. Безъязычный установил, что автором отрывка романа, появившегося в «Современнике», на самом деле был Николай Павлович Титов (1805—1845), родной брат В. П. Титова; прапорщиком Украинского пехотного полка Н. П. Титов участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 годов; впечатления об этих военных событиях и отразились в его произведениях.⁵⁶

⁵⁴ Подробнее о цензурном вмешательстве в статью «Занятие Дрездена» см.: Рыский, с. 58—59. — С цензурными купюрами была напечатана в третьем номере «Современника» другая статья Д. Давыдова — «О партизанской войне»; места, изъятые цензурой, в последнее время обнаружены — об этом см.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины», с. 257—258 (разыскания В. Э. Вацуро).

⁵⁵ Об авторстве этой анонимной статьи см.: Рыский, с. 60—62.

⁵⁶ «Неделя», 1975, № 3, с. 8.

Поэзия в четвертом номере «Современника» представлена окончанием тютчевского цикла, посланием Баратынского к Вяземскому «Как жизни общие призывы», тремя стихотворениями Л. А. Якубовича, анонимным стихотворением «Молитва об Ольге прекрасной» («Странников дальних ангел-хранитель...»), начальными строфами стихотворения Пушкина «Перед гробницею святой», посвященного памяти Кутузова.

В 1837 году «Современник», как известно, издавался Вяземским, Жуковским, Краевским, Одоевским и Плетневым. По именам писателей, участвовавших в «Современнике», издание продолжало быть органом литераторов пушкинского круга; в нем печатались произведения самого Пушкина, стихи и статьи Жуковского, Вяземского, Баратынского, Ишимовой, Одоевского, А. И. Тургенева, Языкова. Постепенно «редакционная коллегия» расширила круг сотрудников; в «Современнике» стали появляться произведения Э. Губера, Н. Веревкина, А. Вельмана, В. Бенедиктова, А. Волконского, Ф. Глинки, А. Глинки, Е. Гребенки, В. Даля, М. Деларю, П. Ершова, М. Загоскина, А. Карамзина, П. Катенина, Г. Квитка, И. Козлова, В. Любич-Романовича, П. Ободовского, И. Панаева, А. Подолинского, Е. Ростопчиной, В. Соколовского, В. Титова, В. Туманского, Е. Фроловой-Багреевой, П. Шаликова, С. Шевырева, О. Шишкиной, В. Соллогуба. Пожалуй, за исключением Бенедиктова, поэзию которого Пушкин недолюбливал, все остальные имена могли бы появиться в «Современнике» и при жизни его первого издателя.

С 1838 года единоличным издателем «Современника» стал Плетнев; при нем судьба журнала была не из счастливых; он имел мизерный тираж и из года в год едва влачил свое существование.

Наиболее дальновидным из литераторов пушкинского окружения оказался В. Ф. Одоевский. Его журнальный альянс с А. А. Краевским, — издание обновленных «Отечественных записок», — позволил передовым дворянским литераторам выступать в одном печатном органе с разночинной интеллигенцией. Но история журнальных предприятий 1840-х годов не вмещается в рамки нашей книги. Проследить дальнейшую судьбу писателей пушкинского круга — тема особого исследования.